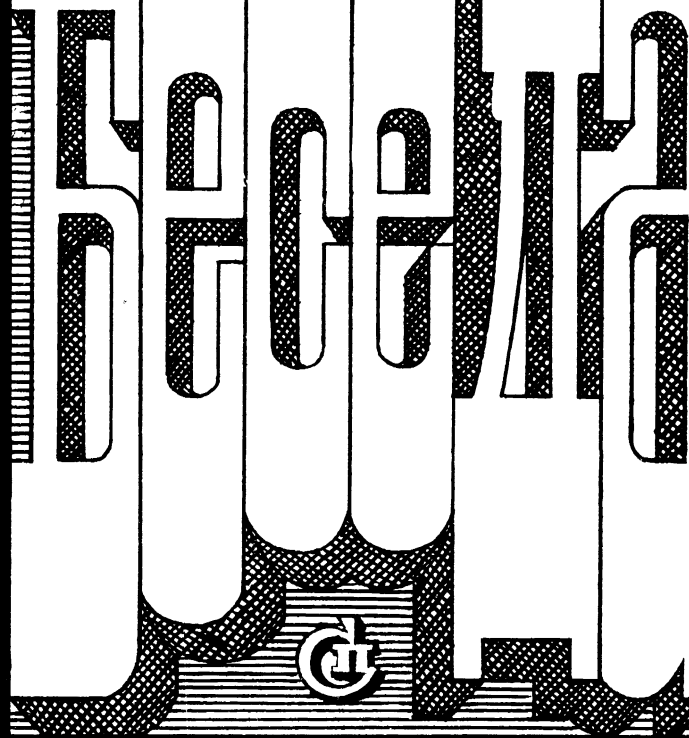


ГРИГОРИЙ
ГЛАЗОВ





Григорий Глазов

Всегда

КНИГА СТИХОВ

**МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986**

ББК 84. Р7
Г 52

Художник ИГОРЬ КУКЛЕС

Г $\frac{4702010200-335}{083(02)-86}$ 182—86

© Издательство
«Советский писатель», 1986 г.

* * *

Терла шею худенькую скатка.
Позади пора пустых затей.
У войны всегда людей нехватка,
и взяла займы она детей.

До Берлина ей с лихвой хватило.
И когда последний гром утих,
остальных мужами возвратила,
чтоб рождались девочки от них...





Тяжек сон на закате, когда
летний зной твоё тело облепит,
а над крышей гудят провода,
и ветвей неразборчивый лепет,
и цыплячий младенческий писк
во дворе.

Тяжек сон на закате,
когда солнечный медленный диск
тонет в облачной вспученной вате.
Репродуктор едва шелестит,
в нём поет про любовь Пугачева.
Но понять ты не в силах ни слова.
Чей-то шепот:

— Не троньте, пусть спит...—
Но потом — голоса за стеной.
В кухне дерзкий сорвавшийся хохот,
В ванной таза порожнего грохот.
Просыпаешься, словно дурной.
Весь в поту, истомленный тоской.
Рот открыт, пересохшая глотка.
Торопливою шаришь рукой:
где ж ремень? где гранаты? пилотка?
Но уходит тяжелый дурман.
Вот журнал на полу, вот газеты.
Успокоенный, лезешь в карман,
где измятые сигареты.

* * *

«Счастливым человек, — мне говорят, —
полвека прожил, юбилей отметил...»

Я ничего на это не ответил.
Пусть павшие меня не укорят.

Я не сказал в ответ
ни «да», ни «нет»
не потому, что прожитого мало.
Мне доброты порою не хватало
для тех, кого пригрела бы она,
для тех, кому теперь уж не нужна,
затем что их не стало...



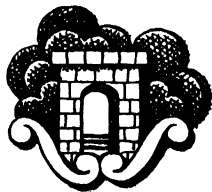
* * *

Когда нагрянула война,
кто стар, кто млад — мы не считали,
а в час твой горестный, страна,
мы все ровесниками стали.

Ведь все, что нас тогда свело,
уравнивало наши годы.
Нам было равно тяжело
нести единые невзгоды.

Когда ж окончилась война,
когда оружие остыло,
вдруг проявилась седина
и все, что прежде с каждым было,

И, подводя былому счет,
сгорал в костре последний хворост.
И каждый стер с лица свой пот,
и каждый ощутил свой возраст.



Артиллерист

Он опустился на станину,
едва земли утихла дрожь.
Дым заволакивал долину,
ложился копотью на рожь.

На гильзе солнце заиграло.
Да было слышно в тишине,
как пламя танки дожирало,
гудя на вспученной броне.

Заглохли навсегда моторы.
А он сидел и жив и цел,
уже забыв про танк, который
поймал в мутнеющий прицел.

Полынь качалась на пригорке,
Стрижи сновали в синеве.
Он пуговку от гимнастерки
искал в истоптанной траве.

Лишь где-то хлопали зенитки.
А он, воды напившись всласть,
все шурился и тонкой ниткой
в ушко иглы не мог попасть...

* * *

День от зноя изнемог.
А заря никак не гасла.
Пахло по́том от сапог,
и ружейным пахло маслом.

Пыль осела, будто прах.
И пичуги не порхают.
Мы в низине. На буграх —
немцы. Тоже отдыхают.

Над селом сожженным — дым.
Над прудом остатки сада.
Но туда мы не глядим,
хоть сходить попить бы надо.

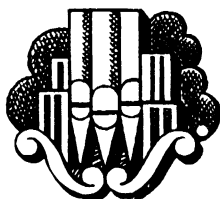
Кто в истоме прикорнул,
кто, сопя, в затвор уткнулся,
кто портянки развернул, —
просто каждый отвернулся,

Плеск доносится до нас,
словно кто в пруду ныряет.
Мы-то знаем: там сейчас
санинструкторша стирает.
Все с себя сняла она,
обнажив святое тело.
Может, немцам и видна,
ну а мы — другое дело...

* * *

От взрыва весь бруствер — в окоп,
Песчинки как стая иголок.
И чувствовал кожей лоб,
что мимо пронесся осколок.
С комбатом оборвана связь.
Но все же не надо бояться.
До вечера — пули и грязь.
А вечером — в тыл пополняться.
На время расстаться с бедой.
Там — банька с угаром и паром,
И кухня с горячей едой.
И — свежее сено по нарам,
И танцы на сельском плацу,
где лузгают семечки девки.
Им старые платья к лицу.
Протяжны их думы-запевки.
Фотограф, газетный орел,
скрипя портупеей, колдует.
Сюда он случайно забрел
и водку с пехотою дует.
— Давайте-ка я вас сниму.
Да сбросьте вы каски, ребята!
Ну, что за народ, не пойму:
на черта вам здесь автоматы?!
Давайте-ка все поплотней!
На фоне той хаты и поля.
Немного у вас этих дней —
в тылу, без оружия, на воле... —

Уставившись «лейкою» в нас,
прикрикнул, чтоб мы не мигали..
И все же я помню сейчас,
что мы с автоматами встали.
И каждый пристроился так,
чтоб солнце на касках сияло,
чтоб в кадр оружие попало,
а все, что за нами, — пустяк..



ЭПИГРАФ К ОБОРОНЕ МОСКВЫ

Из давних дней, из давней были —
Москва, заснеженный перрон.
Нас белый плат метельной пыли
укутывал со всех сторон.

Рубежный, горький сорок первый!
Войны жестокие слова.
В окне разбитом щит фанерный,
Предновогодняя Москва,

Предновогодняя столица.
Твои защитники в бою...
Я сквозь метель бывшие лица
под сенью касок узнаю.

Москва — и мерзлые окопы.
Все рядом — фронт, гражданский быт.
А что-то ждущая Европа
в перины теплые сопит.

В Берлине празднично вещали
победно-пышные слова...
Мы на затылках ощущали
твое дыхание, Москва.

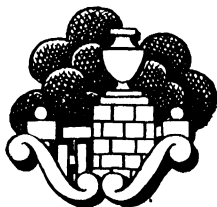
И уж потом, когда урочно
пришли на Шпрее, в город тот,
нам вспомнился весной сочной
и подмосковный зимний год.

И ахнули, и оглянулись —
какие дали за спиной!
Ни с чем в пути не разминувшись,
подпорной устояв стеной...

И, вспоминая все, как было,
как обернулось в свой черед,
как в нашем сердце не остыло
все, что мы знали наперед,

однажды ты в свой час полночный
душою вникни в чистый звон
часов, что нам вещают точный
ход нерастраченных времен.

И в нем тебя коснутся звуки,
давно сошедшие в ту даль,
когда о нашу грудь и руки
ломалась крупповская сталь.



9 МАЯ 1945 ГОДА

Тогда не месть нас утешала,
а дело, сделанное в срок.
А месть отброшенно лежала
в кюветах пройденных дорог.

Обмежек вдоль забытой пашни.
На первоцвет пчелы полет.
Все тот же длился век вчерашний,
а вроде новый начат счет.

Все было в радость нам и впору:
хлебавший щи плененный враг,
пустая пачка «Беломора»
у входа в выжженный рейхстаг...



* * *

Был год, как кончилась война.
Я — комиссован подчистую.
И жизнь прозрачно холостую
оценивать умел сполна.
Не выбросил, а износил
и сапоги и гимнастерку.
Жил в день на трешку иль пятерку,
но милостыни не просил.
И лакомством была в столовках
тяжелая, как дробь, перловка.
Таранку пивом запивал.
Кого-то гневно осуждая
и в эмпиреях не витая,
кричал:

«Да он не воевал!..»

Все было просто, словно выстрел,
где пули линия пряма,
да я ее еще убыстрил.
А много надо ли ума,
чтоб окатил кого-то холод
от слов таких?!

Я жив и молод!

И, трижды смерть свою поправ,
уверовал, что этим прав...
Но, вспоминая эти дни,
не осуждаю той гордыни.
И в снах моих еще поныне,
как детство, сладостны они.

Но, вспоминая эти дни,
теперь все чаще мне охота
и все сказать, и спрятать что-то
не в слове, а в его тени..



ЭКСПРЕСС МОСКВА — БЕРЛИН

Пьет чай мой сосед.
Весь в поту.

Макает сухарик шершавый.
Давно уползли в темноту
тяжелые шпиль Варшавы.

Фольварк проплывает вдали,
Костел одинокий и пожни.
Уже по вагонам пошли
служители польской таможни.

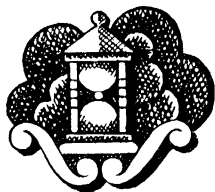
Поручник мой паспорт берет
и нужную ищет страницу.
По Одре, по Одере — лед.
Здесь кончилась Польша.
Граница.

С немецкого берега дым —
там печи брикетами топят.
И память торопит, торопит,
чтоб снова я стал молодым.

Все медленней поезд идет.
Продрогшие рощи, канавы,
как в тот, проступающий, год,
в канун ледяной переправы.

В тот день
я прощался с тобой,
мой друг, под звездой жестяною...

Твой голос зовет за стеною:
«Постой, захвати нас с собой!
Тебя ж до Берлина свезет
за час с небольшим этот поезд.
А нам — еще в Одер по пояс,
а в Одере плавает лед...»



ОФИЦЕРЫ ПЕХОТЫ

На погоны нам с неба не падали звезды.
С марша в бой уходили мы в свете ракет.
Нас пронзили навывлет холодные версты,
И встречал не цветов, а разрывов букет.

Что слова про грядущие сладкие льготы!
Мы красивы при свете ночного костра,
Называемся мы офицеры пехоты.
Хватит слов!
Подыматься в атаку пора.

Мы умели шутить, мы бывали угрюмы.
Грели руки на пламени зимней зари.
И слова, что порою кричали в бою мы,
никогда, никогда не войдут в словари.

Пусть в болотной грязи, пусть пропахли
мы потом.
Наше тело кромсали не раз доктора.
Называемся мы офицеры пехоты.
Хватит слов!
Подыматься в атаку пора.

Как бы ни было, где-то и нас не забыли.
Женских кос благодать на уставшей руке.
Славим женщин, которых случайно любили,
тех, что гладили нас по небритой щеке.

Не забудем их ласк терпеливых заботу.
Повязала нас кратко судьба до утра.

Называемся мы офицеры пехоты.
Хватит слов!
Подыматься в атаку пора.

Нам не застыят глаза ордена и медали.
Видим землю, людей и небесную высь.
Много доброй неправды о нас написали.
Мы ж не шпагой фанерной в спектаклях
дрались.

Нам поныне осталось немало работы.
Честным истинам старым грозит мишура.
Называемся мы офицеры пехоты.
Хватит слов!
Подыматься в атаку пора.



* * *

Шершавый бег ночной поземки.
Заснуть бы..

Предал сон меня:
лежу, уставившись в потемки,
задерган суетностью дня.
Заснуть, расстаться бы с собою,
спать, словно плотью в землю врос,
как спал когда-то после боя,
сопя в шинельный жесткий ворс:
протясь со зрением и слухом,
без сновидений о былом,
дыша своим же потным духом
и сладостным своим теплом,
когда кончалась ночь, линия,
когда, не зная, что я жив,
мою шинель запорошив,
шел снег, меня с землей ровняя,



ТРОФЕИ

Подровнял на лбу пилотку,
гимнастерку застегнул.
Кашлянул, прочистил глотку
и в немецкий дом шагнул,

Но — ни голоса, ни звука.
Столько комнат! Тишина,
Вот она какая штука,
эта клятая война.

Шкаф с накладкою узорной,
габардин, мехá, белье,
буковый паркет наборный —
чье-то крепкое жильё.

Поглядел в окно на Одер,
на пожара дым густой.
Чемодан трофейный отпер,
в спешке брошенный, пустой.

И, в Россию спозаранок
отбывая в добрый час,
в чемодан сложил рубанок,
дрель, долота, ватерпас...

ОГЛЯНУСЬ

Пройденные прописи забыты.
Сверстники мои в боях убиты.
С каждым шагом голова моя белей.
Забываю имена учителей.

Лица их порой во сне увижу.
Но тонка и кратка эта нить.
Тщатся разглядеть меня поближе,
чтоб с далеким мальчиком сравнить.

Все их память чисто сохранила,
и оценку б выставить пора.
Только медлят.

Красные чернила
высохли на кончике пера,



ЗАКАТ НА ВЗМОРЬЕ

Как долго этот вечер длился!
Все не было ему конца.
Но вот он сумраком налился,
а море — тяжестью свинца.

Гниющих водорослей пакля —
избыток вспененной волны —
на белых отмелях запахла
живою тайной глубины.

На дальнем выгибе залива,
где одноцветно пала тень,
пульсировал зрачком пугливо
маяк, дремавший целый день.

И угасавшее светило
за горизонт под тучей шло,
И море стынью охватило,
багряной дрожью повело.

И тьма легла, грозя бедою.
И с небом сомкнута купель.
Но вдруг над самою водою
зажглась малиновая щель.

Как будто там не позабыли,
чему клялись при свете дня,
и двери в темень приоткрыли,
и свет зажгли, и ждут меня...

В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ

Легко встаешь с постели,
воспрянув ото сна.
Какая легкость в теле!
И как спина ровна!

Ты, словно в детстве, весел.
И сердцем воспарил.
И все б уравновесил.
И все бы раздарил!

Ста запахов паренье
в пустеющем саду —
кипит в тазу варенье,
последнее в году.

От мух на окнах сетка,
А день жарой облит.
Обломанная ветка
на яблоне болит.

В цветах пылает грядка.
К забору жметесь тень.
И женщины оглядка —
подарком в этот день.

Как краски неспесивы!
Какая даль видна!
Как старики красивы:
загар и седина.

И в мудром наважденье
забылось средь затей,
что наши дни рожденья
идут сквозь дни смертей...



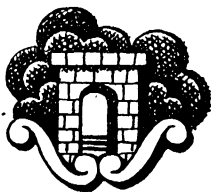
* * *

В детстве, в сказочном приделе, —
пыль, заборы, бурьяны,
сочно угли пламенели,
вкусно пахли деруны...
Было все легко и просто.
Мода грешницей слыла.
Пусть рубаха не по росту —
лишь бы все-таки была.
Погромыхивали годы
позади и впереди.
По музеям культпоходы —
знай ходи себе, гляди.
А в музеях ружья, сабли,
что вершили правый суд.
Слава собрана по капле
в немутнеющий сосуд.
Приходил туда, бывало,
я мальчишкой до войны.
Сколько места пустовало
вдоль белеющей стены!
А теперь здесь густо, плотно.
И, ревнивы к новизне,
так теснятся неохотно
экспонаты на стене.
Но меня у белой шторы
окликает блеск ствола
той винтовки, из которой
юность с выстрелом ушла,

ПРЕДВКУШЕНИЕ ПАРАДА

Одним достается в наследство
запомнить стожок на лугу...
Нелгушую память о детстве
я тоже в душе берегу.
Та память особого склада:
живет в ней с мальчишеских лет
мое предвкушение парада,
мое предвкушение-отрада,
которому возраста нет.
Бывало, еще накануне
хотелось мне загодя знать
то место на скромной трибуне,
где буду с отцом я стоять.
Боясь, что просплю ненароком,
счастливый от взрослых похвал,
я в том предвкушение высокою
еще до рассвета вставал.
Я помню: пуста еще площадь,
Тревога моя все сильнее.
Но вот она, в яблоках лошадь,
и с шашкой военный на ней.
Украшены флагами зданья.
Как громок удар тишины!
Сквозит ветерок ожидания,
за сквером шинели видны.
Я знал, что меня не обманут.
Я знал: состоится парад.
Не зря же по нитке натянут
линейных негнувшийся ряд!..

А сколько их было, парадов,
в честь самых больших годовщин,
пока под отеческим взглядом
мы выросли сами в мужчин!
Я памятью движусь по следу
далеких военных дорог:
шеренги Парада Победы,
где вражьи знамена у ног.
А то предвкушение, что с детства
хранилось как чистый родник,
мы отдали детям в наследство,
чтоб верой умножилось в них.
Нам символов лучших не надо!
Труби же, трубач, свою весть!
Пусть движется время парадом —
он символ того, кто мы есть!
Торжеств подошедших предвестник
в движении строгом един,
седин наших давний ровесник,
нетающих наших седин,



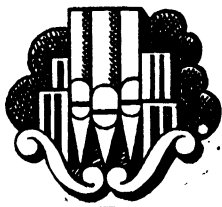
* * *

Что-то будет после снега:
все удачливее день.
После зимнего ночлега
цвет замыслила сирень,

Что-то будет после снега.
Я летал вчера во сне.
Как предчувствие побега
дрожь весны прошла по мне.

Что-то будет после снега.
В горле голос ста синиц.
Не случайная утеха:
я постиг язык зарниц.

Скоро, скоро звякнет стремя,
скрипнет высохший сучок.
И напрягшееся время,
словно луч, пронзит зрачок.



УЧЕБНИК

Вдруг почувствовал: пресно
в этом городе мне,
просто муторно, тесно
у витрин, в толкотне.

В цирке парня встречаю,
с ним дружили тепло.
Буркнув «Здравствуй», отчалю,
вдруг подумав: «Трепло».

Борщ в тарелке дымится.
Я сижу и перчу.
За столом чьи-то лица
ждут: о чем я молчу?

Громко стул отодвину,
на диван завалюсь.
В бок уперлась пружина.
«Вот проклятая!» — злюсь.

Все меня раздражает:
брошка, руки, она.
Ухожу. Провожает,
и мила и верна.

Дверь взяла на цепочку,
грудь халатом прикрыв.
Ухожу. Ставлю точку,
веря в этот разрыв.

Все кричат: «Интересно!» —
книгу в руки суют.
Полистал. Ну и пресно!
В ней как жвачку жуют.

Мне б какой-нибудь требник!
Письмена на скале!
Но беру я учебник,
что лежит на столе.

Тот задачникек синий
в пятнах старых чернил,
за которые сына,
помню, часто бранил,

И читаю я повесть
в восемь с цифрами строк:
как от станции поезд
в должный тронулся срок,

А навстречу, известно —
только медленней чуть,
поезд тронулся местный
и отправился в путь.

Будто вижу воочью,
как летят провода,
как проносятся ночью
по степи поезда.

И сиренами воют
так, что дали дрожат.
Будто едут в них двое,
что на встречу спешат.

И не тяжко мне бремя.
Только надо спешить,
словно встречи их время
должен я предрешить,

Я решу, я сумею!
Пыл во мне не угас!
Я в ответе не смею
ошибиться сейчас!





Стою у окошка, курю
и слушаю оклик кукушки.
А сад окунулся в зарю
от комлей сырых до макушки.

И пахнет рассвет бузиной.
И птица поет как жалейка.
И ржавая узкоколейка
молчит за кирпичной стеной.

Стакан молока на столе
и черствого хлеба краюха.
Да ищет лазейку в стекле
уставшая синяя муха.

Роса обновила траву.
Малинник зарос паутиной.
Крыльцо перепачкано глиной.
Как долго я здесь проживу?

От времени я не таюсь.
И все ж, не отмечен виною,
стою, оглянуться боюсь,
как будто погоня за мною.

Боюсь не воды, не огня —
в простенке, где мгла и усталость,
там зеркало встретит меня
и вмиг возвратит мою старость.



Кто хоть однажды зажимал зубило
в напрягшемся до дрожи кулаке,
тот помнит, как оно порою било
ударом отраженным по руке.
Сгрызая неподатливость металла,
расплющенное сверху добела,
шло вглубь оно неспоро и устало,
куда его рука моя вела...
Но кто изведаль сердцем обнаженным,
стремясь извлечь из сплава слов добро,
как бьет порой ударом отраженным,
когда с бумагой сводим мы перо?!



* * *

Не знаю, кто был прадед мой когда-то:
то ль кантонист, замученный в солдатах,
то ль знаменитый местечковый шорник,
пропахший потной кожей хомутов,
то ль служка, божьей истины поборник...
Я все принять и все понять готов.

Меня мое незнание не мучит.
Сам разберусь я со своей судьбой.
Оно меня единой доле учит:
всегда и всюду быть самим собой...

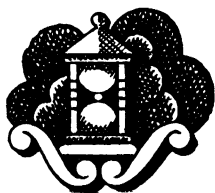


* * *

Был горек дым попутного костра.
Он застил взгляд, и это раздражало, —
слеза прилежность красок искажала.
А предо мной такая даль лежала!
День просыпался. Было шесть утра!

Случайную слезу я презирал.
Я дул в огонь, чтоб пламя выше было..
Но годы шли, и пламя не простило,
что я слезу со злостью утирал...

Мы в час итога, друг, не уследим,
когда нам сладок станет горький дым.
Захочется, чтоб пахло вновь полынью,
чтоб в степь нагнало ливень и грозу,
чтоб мир зажегся бирюзой и синью,
каким он виден только сквозь слезу...



* * *

Вся выдохлась ирония...
Пора
взглянуть на все,
что сброшено в кюветы:
на раны,
на измены
и наветы, —
и не кричать на всех углах «Ура!».

Химеры прочь!
Реальность, будто снег,
слепит глаза, но обостряет зренье.
Есть просто жизнь.
И просто человек.
И — просто время,
годы
и старенье.

Мне жизнь всегда оказывала честь
за все платить.
И все же долг мой вечен.
Пора увидеть мир, какой он есть,
ведь мне платить, пожалуй, больше нечем.

Учи меня реальностям, судьба!
Не искажай их, подавая взору.
Я ж не готов ни к смерти,
ни к позору.
а все слова — пустая похвальба,

СТАРАЯ ТЕТРАДЬ

Почти обвиненьем возник,
всей правдою так отягченный,
потрепанный мой черновик,
исчерканный ожесточенно.

Но мне удастся извлечь
из слов, что отвергнуты были,
живую и внятную речь,
которую все позабыли.

В ней ложь пребывала как ложь.
И правдою правда осталась.
И мир на себя в ней похож —
заботы, тревоги, усталость.

Мои в ней земные черты,
И люди, которых обидел.
Я видел лицо красоты.
Румяна безвкусицы видел.

Счастливо от песни немел
в землянке при пламени плошки.
И выспаться стоя умел,
есть борщ ухитрялся без ложки.

Пить пиво с друзьями любил
на рынке, из бочки у лужи.
И если я немца убил,
то просто он целился хуже.

Там женщина плачет, дрожа,
Не помню, о чем она плачет.
Вот сыто смеется ханжа.
Вот худенький профиль удачи...

Зачем я тогда пренебрег
такими простыми словами,
но долгие годы берег
тетрадь с голубыми полями?

Отныне все набело!

Срок!

Мне б только к словам прикоснуться!
Уже предо мною порог,
с которого не оглянуться.

Уже за подобьем весны
слежу — за травинкой в кювете.
И все целомудренней сны
приходят ко мне на рассвете.



ЭТЮД

Менялись берега и плесы.
Темнели волжские откосы.
Дрожала палуба ознобно —
надсадно дизель выл под ней.
Ни вскрика птицы, ни огней.
Но мир делился так подробно:
леса, прибрежные луга,
на них нахохлились стога.
На старой рынде от тумана
медь потускнела.

Тишина.

Ни миража и ни обмана.
И истощенная луна
над красным бакеном плыла
и тоже, видимо, спала.
Порезом заалел восход
над тихим ходом волжских вод.
Лениво вахтенный курил.
Роса набрякла свежей охрой.
И, примостившись у перил,
я все стоял в рубаше мокрой.
В буфете звякнула посуда.
И кто-то, протонав, зевнул,
и чей-то глаз по мне скользнул
непонимающе оттуда.
А по воде — все ярче свет.
Открылись заводи речные.
Поблекли истины ночные.
И больше нету сигарет...

АРХИВЫ

Зачем копить архивы
на тот, случайный час?
Сейчас, пока мы живы,
пусть знают все о нас.
Что толку, что потомок
узнает из бумаг,
кто был фальшив, но громок,
а кто был свят и наг?
Покамест мысль живая
в иной душе звучит,
как рана ножевая
еще кровоточит,
пока не нужен пропуск,
чтоб изучать утиль,
пока не нужен допуск
в подвал, где тлен и пыль, —
берите полной горстью
всю истину сейчас.
Архивы — как погосты.
Им дела нет до нас...



* * *

Лезут ветви в багровый закат
обогреться в холодном апреле.
Зимовавшие травы сопрели.
Я бреду через лес наугад.

Здесь когда-то с отцом я ходил.
Он был молод.

И я еще молод —
в сорок пятом.

Разруха и голод.
Я еще от войны не остыл.

Но с тех пор подросли деревья.
Набрались мы и знаний и силы.
Только гуще родные могилы,
И все ниже моя голова.



АРМЯНСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Мы — в сельской комнате.

Полутемно.

Долина Аштарака за стенами.

А здесь в кувшинах — как заря вино.

И, как хозяйка, песня между нами.

Поющий встал.

Негоже сидя петь.

Вытягивал он горлом песню к небу

не праздному застолью на потребу,

а чтоб гостей той песнею согреть.

В ней — легкая, как шорох, хрипота.

Как будто застудил водой Севана.

Но ни лукавства в ней и ни обмана —

лишь древняя печаль и высота.

О чем она?

Что надобен очаг.

А он зачем?

Чтобы семья сложилась.

А для чего, коль это рушил враг?

Чтоб дети родились.

Чтоб это длилось,

как все века, сквозь век летящий наш,

ведь и земле зерно необходимо...

Баранье мясо пахло свежим дымом.

И пальцы наши пахли этим дымом.

И жаром очага дышал для всех лаваш.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГРУЗИЮ

Мне снится Грузия порою,
летающий меч ее грозы
и тихий шелест под горою —
неистребимый звук лозы.

Звенят базальтовые выси.
Вершит свой бег гончарный круг.
Булонский лес под Кутаиси.
И голубой альпийский луг.

В саду, где плод, созрев, томится,
вновь в отчей древней стороне,
все вспомнив, Тициан Табидзе
стихи читает при луне.

Задумчивая песня друга
в хашной, где столик у окна.
И слово доброе по кругу,
что не хмелеет от вина...

О, как тебя судьба ломала!
Чужие кони — у ворот.
Манана, Верико, Ламара,
вы продлевали древний род.

Не вы ль сквозь розовые рани
перекликались у реки,
не вы ль озвучили «Мерани»
одним движением руки?

Мне снилась Грузия.
Всходила
над ней картлийская луна.
Земля — праматерь Автандила —
всех одарить была вольна.

Пастуший щелкал бич в тумане.
На пашне ждал рассвета плуг.
И вся наивность Пиросмани
тут бытием очнулась вдруг.



ПРЕДЗОРЬЕ

Еще не лязгали трамваи.
Был город предрассветно пуст,
И за оградой, оживая,
мерцал сирени душистый куст.
Глубоких снов святое время...
Спал летописец.
Спал дурак.
И мыслей сброшенное бремя
в углу валялось, как рюкзак.
Вкруг каменного пьедестала
гирлянда древняя цепей:
на памятнике проступало
два тихих слова:
«Все испей!»
Все было так, как в ожиданье:
и тишина,
и пустота.
Прислушивалось мирозданье:
чья вдруг разверзнутся уста?
А за околицей светало,
и таял месяц в вышине.
Дорога отблеском металла
почти звенела в тишине.
Казалось, тянется дорога
в тот город много мертвых дней,
и не хватает лишь пророка
с корявым посохом на ней...

В ЧАС ПИРШЕСТВА

Внезапно свет погас. Сгорели пробки,
Прильнула тьма к оконному стеклу.
Неловкий кто-то опрокинул стопки,
ругнулся тихо и замолк в углу.

И, видно, был беспомощен наш опыт
вытягивать бесед застольных нить.
Пир угасал.

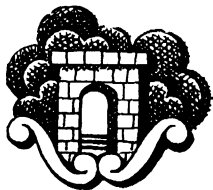
И лишь ленивый шепот
пытался нас во тьме соединить,

А за окном сиренево светало.
На крышах —

 дрожь предзоровой росы.
И вспомнил я о времени устало.
И кто-то начал заводить часы...

О тихая застенчивость рассвета,
будившая значительность во мне...
Молчали мы.

 Погасла сигарета.
И страшно спичкой чиркнуть в тишине.



* * *

Нет, не забывчивость — иное...
Я шел с баклагой молока
и вдруг увидел: надо мною
плывут дымами облака.

Тянулись к ним — окликнуть — сосны,
но обдирали им бока.
И плелся я в жаре несносной
с баклагой, полной молока.

Иду за ними — влево, вправо.
Меня толкают и ворчат:
«С утра хватил».
«Эй ты, раззява!» —
шоферы мне вослед кричат.

Но вспомнить я уже не в силах,
что дома ждут меня давно,
что теща тесто замесила,
что собрались с женой в кино...

В тех облаках навек осталась
прядь неслучайной седины —
так мне казалось.
Мне казалось,
что я их видел в дни войны..

ГОРОСКОП

Не сплю. Ожидаю зарю.
Грохочет вдали эстакада...
Я с жизнью своей говорю
так честно, что судей не надо.

Все вижу реально иным,
все стало опять изначальным:
смешное, как должно, — смешным,
печальное стало печальным,

Сложив воедино лета,
я суетность вычту и праздность...
А вдруг обнаружится та
весьма невеселая разность?..

Не поздно ль я точен и строг,
в своей разбираясь юдоли?
А что, коль на лучший итог
не хватит ни силы, ни воли?!

И гонит к окошку меня,
босого, по вязи паркета
тоска по пришествии дня,
тревожная жажда рассвета.

Затем что в призванье людском
причастен я к ценностям верным,
затем что живым гороскоп
составлен по звездам фанерным.

* * *

Глюкоза... Камфора... Палата...
Застиранный простыня.
Обшлаг обтершийся халата,
Я есть, и вроде нет меня.

Здесь хлоркой пахнут коридоры,
куда гулять пускают нас.
Здесь все о прошлом разговоры,
как будто бы в прощальный час.

Оборваны бывшие связи,
И все разведены мосты.
И капли придорожной грязи
милей стерильной чистоты.

Смешными кажутся измены.
И каждый миг — как на краю,
когда на исповедь из вены
выводят шприцем кровь мою.

А дома на столе хранится
порядок, что заведен мной.
Но белизной твоей, больница,
определен я в мир иной.

И ночью светится печально
сквозь окна душный твой уют...
Здесь все метафоры реальные,
но символы нелепы тут,

РАЗДУМЬЯ

Для финнов это — юг.
Но север для меня.
Еще стоит октябрь.
Но рощу выдал иней.
Опавший лист умолк,
вобрав весь сок огня.
В пробеге облаков
провал открылся синий.

И странно — не штормит.
Залив прилежно тих.
Здесь Балтика.
И здесь темнеет рано.
И обмерла вода
у самых ног моих.
И желтый всхлип огня
проходит слой тумана.

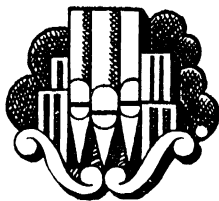
За что-то возлюбив,
шум отпустил меня
суть тишины познать,
услышать зов сомнений.
Зря издали ко мне
доносится возня —
тщеславная игра местоимений.

Все выясняют там,
кто прав, кто виноват,

согласья не ища,
а просто ради спора.

Но я давно постиг,
чем этот спор чреват,
когда он обретает силу вздора.

И к тишине уже
прислушалась душа.
Я этому началу покорился.
На пальцы стынувшие
старчески дыша,
раздумий час
настройщиком явился...



* * *

Бесснежная зима —
как скорбная старуха:
дырявая сума,
ни плоти и ни духа.

Торчат среди деревьев
обвялых груш комочки.
Деревья, ошалев,
вдруг разлепили почки.

Кого тут обвинишь
в зиме постыло поздней?
Никто не виноват,
никто не строил козней.

Как я не виноват,
что мир разъят на части,
как я не виноват
бывал в чужих несчастьях.

Но, глядя в зимний сад,
где голо и бесснежно,
увидел этот мир
единым и мятежным.

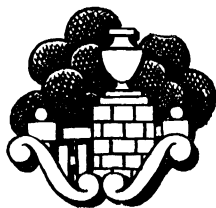
И всполошило вдруг
открытие простое:
отсутствие вины —
достоинство пустое...

* * *

Все уйдем в немыслимую даль:
Время — поводырь наш непреклонный.
Ты смирись, не плачь, моя печаль,
человек я очень закаленный.

Все покинув, молча удалюсь.
Дождь последний упадет за ворот.
И последним взглядом оглянусь
на забитый суетою город.

Там, за световой его стеной,
вдруг сквозняк взмахнет оконной шторой,
где осталась женщина, которой
было очень хорошо со мной...



* * *

Госпитальная палата,
Стоны, храп, последний вздох.
За окном дыханье сада
и растет чертополох...

Нынче школа в здание эгом.
Шум и гам — по сторонам.
Кто расскажет новым детям,
как хотелось в школу нам?

Встать у парты, взять указку,
Континенты, острова.
И услышать вновь подсказку —
довоенные слова...

Мел, доска, другая карта,
И учитель у стола.
У окошка, справа, — парта.
Там кровать моя была...



* * *

Уже выбирать не дано:
все выбрано и устоялось.
Давно не хожу я в кино —
глаза ощущают усталость.

И только мой внутренний взгляд,
как будто на мушке, прицельно
в сощуре повернут назад,
во мне существуя отдельно.

Он цепок и напряжен,
тот взгляд — неизбежное бремя.
Не ведает промаха он,
повернутый в прошлое время.

Но все, что я там узнаю,
все стало бесплотною тенью
и дразнит лишь память мою,
давно перестав быть мишенью.



* * *

Асфальт почернел.
И снег постарел.
И красный закат
безутешно сгорел.

Но в сизой окалине
вызревших туч
в весеннем старанье
запутался луч.

И зимние призраки
скрылись вдали.
Весенние признаки
власть обрели.

Из нашего дома
не вышел старик.
Но в доме напротив —
младенческий крик.

Натужась, весна
сквозь завалы потерь
открыла в просторы
скрипучую дверь.

* * *

С утра туман курился над травой,
но погибал уже к полудню немо.
Та осень отличалась синевой
небес,
промытых до глубин Эдема.

Как будто чем-то занят был господь,
когда людей друг другу предоставил.
Но, позабыв про свод известных правил,
от прав своих вдруг отказалась плоть.

И тут свой праздник начала душа.
Слагался он из музыки движенья.
Ионом обнажившимся дыша,
мы шли к заливу сквозь лесное бденье.

Все понимал нас окружавший лес.
Он нашей добротой не умилялся.
Он просто был.
И в душу к нам не лез.
Лишь мокрой веткой иногда касался.

Подобно вел себя и прелый лист,
и хворост, что огню был не угоден, —
он весь промок.

Был лес, как мы, свободен
и в помыслах и в поведенье чист.

На берегу легко хрустел песок.
Нога ступала мягко, осторожно.
От той свободы делалось тревожно,
когда нам пальцем ветер тер висок.

Так, словно что-то вспомнить мы должны
на берегу, где лодки кверху днищем,
меж черных щепок, сброшенных с волны,
где бродим мы и раковины ищем.

Но вспоминать не жаждалось ничуть,
И тщетную угроза та казалась.
Был тих залив, вода едва качалась,
осенняя, тяжелая, как ртуть.

Купальни заколочены.
Но круг
спасательный висел почти нескромно.
Был подозрителен его досуг
на суковатой крестовине темной.

Казалось, нет сосудов, крови нет,
Есть только вдох и выдох.

Наконец-то!
И на песке подошв ребристый след
напоминал нам праздники и детство.

И пес, резвясь, носился вдоль воды.
Все было так, как осенью бывает,
когда, забыв, что время убывает,
презрев тот факт, что время убивает,
все вкладывал я в новые следы.

ДОЖДЬ

Этот дождь в саду густом
не метафорой явился.
Под смородинным кустом
еж, свернувшись, примостился.

Этот дождь почти судьба, —
небо выплакаться хочет.
Водосточная труба
все над бочкою грохочет.

Сонный шорох в деревьях.
Легкое ветвей качанье.
Недосказанность в словах
как святое обещанье,

Опустевшее крыльцо
с подгнивающей доскою.
И любимое лицо,
в сад глядящее с тоскою,



ДОБРОХОТЫ

Нет, не праздно, не пьяно —
трезво перст воздымая,
говорят они рьяно,
все во мне понимая.

Мне меня объясняют.
Мне меня же толкуют.
Не стесняясь, стесняют.
Как провидцы кукуют.

Проявляют участие!
Просто нету отбоя!
Вот ведь выпало счастье:
я знакомлюсь с собою.

Как домой возвращаться?
Вроде шкура линяет:
я — не я. Может статься,
что и сын не узнает...





Ночь пахла пылью.

И листва вдыхала
дождя отшелестевшего дурман.
С чужих балконов нам белье махало
пустыми рукавами сквозь туман.

Мы долго уходили друг от друга.
Пути длиннее, чем прощанье, нет.
Но ты сказала, вырвавшись из круга:
— Пора, любимый. Близится рассвет...

И снова ночь.

И дождь.

И сквер весенний.
Там где-то был на гравии наш след.
Но жизнь прошла.

Истлели наши тени.
Как сыро нынче от кустов сирени.
Закреть бы окна.

Близится рассвет...



СОН

Был сон как явь: я различал
в нем каждый цвет
и каждый запах.
Там дятел по коре стучал
и плыло облако на запад.

Был луг прокошенный знаком,
Сухое сено пахло пряно.
И ветром, словно наждаком,
закат натертый до румяна.

Рубаха белая была
испачкана зеленым соком.
И в небе вымершем, высоком
звезда случайная жила...

Проснулся я.
Не шевелясь
еще какое-то мгновенье
лежал, нащупывая связь
меж сном и явью.
Легкой тенью
качнулась штора наяву.
Стучал будильник.
Было тихо.

А я все видел ту траву,
пчелу над вызревшей гречихой,
тот бор, где старая сосна,

ту белку, что на ветку влезла.
Но вдруг я понял, что исчезла
внезапно женщина из сна.

Ужель не вспомнит до конца
от сна воспрявшее сознание
ее прекрасного лица
еще недавнее сиянье?!

Ведь точно же: была вода,
и стрекоза над ней дрожала,
и под моей щекой тогда
рука той женщины лежала....





Рукою по лбу провела
и вдруг на тебя оглянулась,
меж сосен по дюнам прошла,
к обвисшей калитке вернулась...

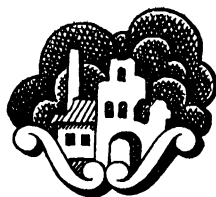
Тот жест ее месяц подряд
как зов тебе слышался тайный.
Но тяжкие сосны скрипят:
«случайный...
случайный...
случайный...»

Как холоден август.
Дожди.
Но светятся окна на даче.
«Останься еще, подожди» —
сквозь ветер шепнула удача.

Как холоден август в ночи.
Качаются сосны пугливо.
Согревшись в ладони, ключи
вдруг звякнули что-то счастливо.

Но ты отошел поскорей,
доподлинно зная заранее:
ключи не от этих дверей —
от тех, что сокрыты в тумане.

**Знать, просто под сердце легло
желание тайны и чуда,
мелькнувшее вдруг сквозь стекло
сияньем чужого уюта...**





Когда стоят прижавшись двое,
что говорят в тот миг они?..
Я вспоминаю нас с тобою
в те самые благие дни.

Был Первомай, качались флаги.
Мы с вечеринки шли домой.
Скамья была черна от влаги,
и задувало, как зимой.

Внезапно мы остановились.
Фонарь то вспыхивал, то гас.
Качались тени и двоились,
как будто охраняли нас.

В аллее с гипсовым оленем
темнела изгородь плюща.
Озябшие твои колени
я укрывал полой плаща.

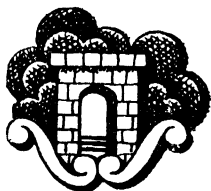
Цвел мох по буковому комлю,
Дрожала в лужице вода...
Все помню. Только слов не помню,
что говорили мы тогда.



С первым снегом тебя, с первым снегом!..
И с побегом тебя, и с побегом
от себя, от судьбы, но — к судьбе.
Чем за то отслужу я тебе?

Где-то город напрягся от гула.
В щель оконную стужею дуло.
А в печи душно пламя гудело.
«Ах, не дело все это, не дело», —
ты шепнула, присев у стола
так, как будто погони ждала.
Только руки тянулись ко мне,
неповинные в нашей вине...

Долг наш рос: завершался распад
прежних связей, привычек и дат.
И росла снегопада стена,
что сокрыла собой и убила
дорогие в былом имена...



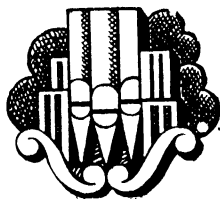
* * *

Ты выбрала меня на краткий срок.
Нас вознесла на миг волна крутая.
Но тайны нашей тихой дрожь святая,
едва родившись, подвела итог.

Моих календарей не сосчитать.
В твоём отсчете — только лишь начало.
Я возрастом клеймен. И та печать
мне вдруг предупреждением прозвучала.

Нам тот подъем с тобой не одолеть.
Ты всякий раз захочешь оглянуться.
Поймешь однажды: надо вниз вернуться —
так страшно вниз с той высоты глядеть...

Что б ни случилось — будешь ты права,
затем что молодость твоя жива.
Мне ж не зажечь ее своим закатом...
Что б ни случилось — ты не виновата.,,





Порог твой, рассудительность, высок.
А мне б сбежать из тишины и быта
туда, где все параграфы забыты,
где женщина прекрасна, видит бог!

Надкусывая яблоко, она
все медлит с окончательным ответом.
Решительность ее горда при этом,
но, кажется мне, чем-то смущена.

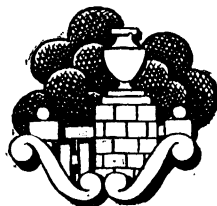
Ума ее неведом тайный склад.
Какое происходит в ней боренье?
Что видит нерастраченное зренье?
Куда она шагнет не наугад?..

Надкусывая яблоко, она,
сосредоточенно так упиваясь соком,
меж тем в иную мысль погружена
в последнем напряжении высоком.

А дом мой садом осени пропах.
И убыстряет бег одно сознание:
мое неутоленное незнание —
вкус яблока, что на ее губах.

Но вот платок из сумочки берет
и, вроде ничего не замечая,
на все вопросы вздохом отвечая,
прощальным жестом утирает рот.

Ужель она уйдет?..





Поспорь, душа, поспорь с напором плоти:
чей выше взлет и чей надежней фарт?..
Я видел человека на охоте:
погоню и растравленный азарт.
Он брел болотом, искровавлен гнусом.
Лицо и руки в ряске. Не узнать.
Промок. Устал. Но, взмыленный искусом,
полдня лосиху продолжал он гнать.
Свалив ее в кедровнике за скатом,
швырнул ружье и сбросил сапоги.
И, умиленный нежностью заката,
рассказывал о красоте тайги...





Еще не все потеряно, пока
своим смешным желаньям уступаю:
топчусь у бакалейного ларька
и леденцы цветные покупаю.

Еще я слышу о себе: «Чудак,
идеалист, наивен до упаду!»
Но, чтоб позлить их мутную досаду,
прошу еще отвесить на пятак...

Еще не все потеряно, пока
есть леденцы на донышке кулька.



* * *

Как в юности легки
и мысли и поступки!
Небрежен взмах руки,
И не страшны уступки.

Но в час своей зимы
за все заплатим мы
отяжелевшим телом,
незавершенным делом
и мыслью, что никак
не вырвется наружу,
а в темноте сидит
и разъедает душу...

А может, зря ворчим?
А может, помолчим?
А может, так и надо,
чтоб в зрелости была
раскаянья надсада?..





Вокзальчик забит людьми.
Пьем местное пиво мы.
У каждого есть забота,
у каждого нет чего-то,
у каждого свой запрос.
Локтями к столу прирос
сосед мой из Закарпатья.
И все мы тут словно братья,
Пепел стряхну сигаретный
в баночку из-под шпрот.
Едет народ многодетный.
— В этом году недород,
да мы, браток, не сумеем¹,
как-нибудь перезимеем.
— И у меня небогато:
нет ни сестры, ни брата.
— Вот это беда, браток... —
И снова пива глоток.



¹ Не сумеем — не тужим (укр.).

МОИ ДОМ

В этом доме приручены
время, вещи, слова.
Все разложено и заучено —
будни и торжества.

Все обедаем вместе,
возвращаемся в срок
в дом надежных известий,
где покоя исток.

Так сошелся свет клином.
И куда ни пойду —
Я на кратком иль длинном
его поводу.

И ступаю урочно
я в свои же следы.
Дом стоит непорочно
на виду у беды.

Не такая нелепость
фразы выпренной соль:
«Этот дом — моя крепость»,
если в нем моя боль,
если в нем так едины
все, кто любит меня.
Тюль прозрачной гардины —
вот и вся тут броня.

* * *

Нет, неправда: мир неодинаков,
не размыт в столетиях, не гол...
Хохоча, глядел на древний Краков,
в стременах тугих привстав, монгол.

Как нелепо готики величье!
Как смешна в шипящих стыках речь!
И, лицо утерши шапкой лисьей,
повелел он ту нелепость сжечь.

Не слыхавший никогда латыни,
не познав еще, что духом нищ,
он не ведал, что горят святыни, —
просто сладок дым от пепелищ.

Гнал он жеребца сюда наметом.
Мир он познавал на свой манер:
слух его был чуток, глаз наметан...
Был Бетховен глух. И слеп Гомер...



* * *

И в стогу не заночуем,
и в палатке не заснем:
то какой-то шорох чуем,
то в глазах светло, как днем.

И грустим уже о малом,
глядя в щелочку весны.
Мерзнем, брат, под одеялом
и высматриваем сны,

где в окопе замеченном
под тревожный гул земли
на густом ветру студеном
даже стоя спать могли...



ПЕРЕВОЖУ С АРМЯНСКОГО

О, сладость извлекать в тиши
звучанье из немого слога!
Как бы прозрение души,
как зов неведомого бога.

Так, с нетерпением борясь,
два языка рождают третий —
язык поэзии, чью связь
не раздавить пластам столетий.

Так входит чья-то боль в меня.
И мой очаг пылает снова
не плоским отблеском огня,
а плотью пламени живого.

Слова вмещаются в слова,
и дух — в одежды новых звуков.
Да будет эта речь жива
для наших сыновей и внуков!

О, сколько истин обрету,
когда крутая вязь Маштоца¹,
не признавая немоту,
кириллицею отзовется.

¹ Месроп Маштоц — создатель армянского алфавита.



А что вы знаете про нас?
Все, что кино вам рассказало
иль песенка в уюте зала?
Ах, что вы знаете про нас!

Что мы ворчим, права качаем,
вне очереди все берем,
стучим уставшим костылем,
как праведники, поучаем?
Ах, что вы знаете про нас!

Нам было двадцать, чуть поболе.
А над отчизною — дымы:
горят леса, пылает поле.
Четыре лета и зимы.

Вам заглянуть бы в наши сны,
когда мы спали там, в Берлине,
на мостовой, как на перине,
в тот первый час после войны.

Когда б туда вы заглянули,
там — только пули, пули, пули,
и нечем рану бинтовать,
и поутру у почтальона
берет конверт со страхом мать.

Когда б увидели нас т а м,
тогда б по сгнившим переправам,

не окровавленным бинтам
к вам допóлзло б простое право
оказать, что знаете вы нас.

Мы тоже были молодыми.
Вы тоже будете седыми.



* * *

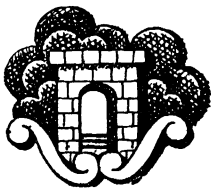
Век оправданье себе сочинил:
«Время сурово...»
Из автомата нам сын позвонил:
— Все ли здоровы?

С улицы в дом залетевший звонок!
Сердце ликует!
— Ты б заходил к нам почаще, сынок,
мама тоскует...

Молча стою у осевших могил.
Папа и мама.
В памяти их телефон сохранил.
Память упряма.

Вот бы услышать в ответ на звонок!
— Гриша,
ты заходил бы почаще, сынок...

Нет, не услышу.





Нагая осень

Листьев жар
притих под сединой тумана.
Природы бескорыстен дар,
в нем ни лукавства, ни обмана.

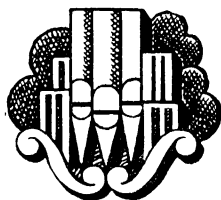
К утру остыл пустынный плес.
В лесах бездымные пожары.
В копне листвы резвится пес.
Последних падалиц удары.

И черных галок суета.
И в закутке ежа шуршанье.
И синее небес дыханье,
где окликает высота.

Сосед — веселая душа —
шинкует на зиму капусту:
движение его ножа
ловлю я по тугому хрусту.

Мир оголившийся не пуст.
Он кем-то собран воедино.
Угас сирени душный куст,
но багрецом взялась рябина.

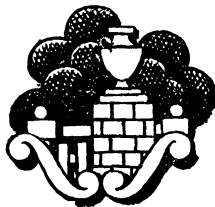
Все осязаю наяву.
Все занято незряшным делом.
Что выбор?!
За его пределом
я эту осень проживу.



* * *

Всю жизнь спокойствию был рад.
Силен был, да не надрывался.
Так и прожил не наугад.
И старости не испугался.

Но иногда, раскрывши дверь,
глядит с тоской в ночное поле.
Видать, спокойствию теперь
недостает какой-то боли...



* * *

Уходит сын из дома навсегда —
мужчина к женщине своей уходит,
прощальным взглядом комнату обводит,
куда он возвращался каждый день.
Уходит сын, уводит даже тень
свою к той женщине, что он назвал женою.
Уходит, повернувшись к нам спиною,
Тяжелый чемодан в его руке.
Сын уплывает по своей реке.
И что б вослед ему мы ни кричали
о всех водоворотах вдалеке —
он внимлет лишь движенью по реке,
а не двоим, забытым на причале.



* * *

Безоглядность, беспечность, напор!
То ли встречи, то ли прощанья,
и ненужные обещанья,
и зеленый всегда светофор.

Женских рук и губ череда.
Нету черта, и нету бога!
Нет бессонницы, есть дорога
только в молодость, навсегда!..

Путь обратный уже не спеша
мы вершим.

И внимательным взором
озирает, прозрев, душа
все, что стало теперь укором.

До конца пребудет милей
той, единственной женщины имя.
Возвращаемся мы другими:
шаг степенный, слова тяжелей.

Ах ты, юность, моя звезда!
Ах ты, старость, моя подруга!
Словно встречные поезда
удаляются друг от друга.

* * *

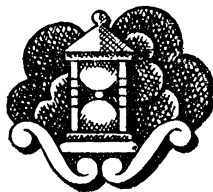
Я все довел до грани, до предела.
Оглядываться некогда уже.
Моих друзей копилка поредела.
Живу на самом страшном рубеже.

Еще ничем по горло не насытись,
все три пути я свел в единый путь,
как тот поводья опустивший витязь,
склонивший в думе голову на грудь...



* * *

Я знаю, во что превратится
зерно, отлежавшись в земле.
В золу уголек обратится,
мерцавший призывно во мгле,
а грустная песня — в кручину,
а полночь — в сияние дня.
Мой сын превратится в мужчину,
и внук превратится в меня.
Сжимается время и мчится,
насмешки своей не тая...
Не знаю, во что превратится,
состарившись, память моя.



* * *

Я в лес вхожу, от города отрезан
несмытою чертою тишины.
Отпущен я асфальтом и железом
сюда, где листья охрой сожжены.

Берез бегущий выводок белеет.
Какая тайна в их немой судьбе?
Рябина соком осени алеет,
что капля на прокушенной губе.

Я не боюсь случайной непогоды,
когда возведен осени чертог.
Пора отдохновения природы,
ее не лгуший никогда итог.

И горсть земли, и палых листьев жалость,
и кожица намокшая ветвей —
все пахнет той землею, что слезалась
там, на могиле матери моей...



* * *

Ах, молодость ушла,
как будто бы устала
от ржавых сухарей,
шинели и устава...

Ах, если бы вернуть
ту ветровую пору,
пилоткою взмахнуть
прощально семафору...



* * *

Ах, самое время писать бы,
закрывшись от всех на засов,
про жаркие спелые свадьбы,
про терпкость осенних лесов,

когда загрустит над полями
дымок от сожженной ботвы,
когда непотребно с вралями
якшаться на «ты» и на «вы».

Ах, только б вздохнуть и очнуться,
прорваться сквозь суетный гул...
Не зря, чтоб однажды вернуться,
я в травы монетку швырнул.

Там где-то у самой излуки,
холщовый отбросив мешок,
играет, не ведая скуки,
с ушастым щенком пастушок.

А мимо — мелькание окон
вагонов в закатном огне.
И — женский трепещущий локон
в прощально открытом окне...

МОЕМУ ЗНАКОМОМУ

Ах, сколько тайн, интриг
в былой твоей судьбе.
Сюжетами для книг
они живут в тебе.

О, сколько бы чернил
пошло на те тома!
Чего б насочинил
тут фантазер Дюма!

Пиши! Ты все постиг!
Бумаги не жаль!..
Но души чьих-то книг
тебе куда милей.

Влечет чужой секрет.
Счастливая пора:
полпачки сигарет
и чтение до утра.



* * *

Не спешу, не набиваю
автомата диск пустой,
а патронами играю
в шашки с нашим старшиной.

А рейхстаг еще пылает.
Дымно тот костер горит.
— Во, зараза, догорает, —
старшина мне говорит.

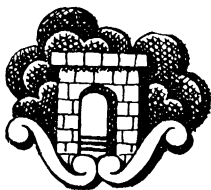
Мы картонку разградили
углем из того костра.
Мы юлфляги осушили.
Нам не снится. Шесть утра.

Вещмешков набрыдли лямки.
Пусть лежат себе рядком.
Старшина проводит в дамки
гильзу с красным ободком.



* * *

Мы пели лихо песню про Катюшу,
как расцветали яблони и груши,
Та песня — как улыбка на лице.
А мир был адским пламенем порушен.
Тлел и сжимался в огневом кольце.
От взрывов воздух окислен и душен,
но улыбалась песня про Катюшу,
как расцветали яблони и груши.
Комбат в бинокль сумрачно глядел:
за Вислой камень вековой горел.



НОЧНОЙ МОНОЛОГ

Помнишь день, когда тебя убили?
В час затишья снайпер подгадал.
Был апрель.

А в мае победили,
Сорок лет тебя я не видал.

Протяни ж мне руку из могилы,
я тебе подняться помогу.
Сорок лет на этот случай силы
сберегал я через «не могу».

Встань, мой друг, солдат войны последней,
и сдержи свой удивленный крик.
Встань, ровесник мой двадцатилетний,
посмотри: а я уже старик.

Сбрось свой гроб — гнилую плащ-палатку,
выдохни из легких едкий дым.
Сходим мы с тобой на танцплощадку,
на девчонок новых поглядим.

Та, которой клялся ты вернуться,
сорок лет ждала тебя домой.
Но теперь уж вам не разминуться —
умерла минувшею зимой.

Городок наш очень изменился,
под асфальт ушла его трава.
В доме, что от старости склонился,
мама до сих пор твоя жива.

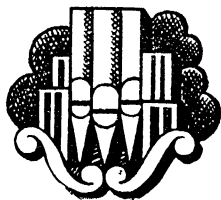
Встань!

И в час, когда с крутого неба,
как слеза, покатится звезда,
впрок купи себе свободно хлеба
перед возвращением т у д а...

Протяни мне руку из могилы,
я тебе подняться помогу.
Сорок лет на этот случай силы
сохранял я через «не могу».

Я в живых один из батальона.
Как мне жить, чтоб не был я в долгу?
Встань хоть ты!

Все двадцать миллионов
все равно поднять я не смогу.



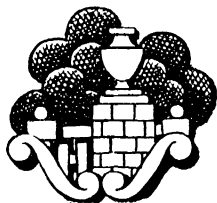
МАЛЕНЬКАЯ БАЛЛАДА

Словно мамонт, я вмерзаю в лед
шкурою простреленной шинели...
Кто меня через века найдет
в том замесе глины и шрапнели?

Тиснет два убористых столбца, —
и уже сенсация готова.
Не выдавший моего лица.
Не слыхавший обо мне ни слова.

Сто гипотез. И научный спор.
И не ведали, что было проще:
танки выползали на угор
и сминали вымерзшую рошу.

Шла по небу медленная хмарь.
Снег горел. Клонился день к закату.
Я догрыз последний свой сухарь.
И достал последнюю гранату.





Мой сон превращается в стон.
...Я друга везу на телеге.
И мысли мои о ночлеге.
А друг мой уже обречен.

В воронке мы с ним разожгли
костер и сушили одежду.
И грели от дома вдали
красивую нашу надежду.

А нынче в санбат я везу
его на случайной телеге.
И мысли мои о ночлеге.
И ветер мне сушит слезу.

От долгих уставших дорог
усталые кони угрюмы.
Просты мои грешные думы:
от долгих уставших дорог
протерлись морщины сапог.

Берлин еще так далеко.
Там немец сидит у окошка
и смотрит, как сытая кошка
из блюдечка пьет молоко.

Потом он отходит ко сну
и дверь запирает, как надо,
которую я отомкну
однажды ударом приклада...
Мой сон превращается в стон.



* * *

Не с легким сердцем вынимаю
я почту, присланную к маю...

Когда и радости в избыток,
когда не верю темным снам,
когда куплю цветных открыток,
где цифра «9» светит нам, —
я всякий раз опять пугаюсь:
кого теперь сокроет тень,
кого оячь недосчитаюсь
я в этот май, в девятый день?..

Что ж, вечно не живут солдаты.
И все же очень вас прошу:
не умирайте, адресаты,
я поздравленья вам пишу.



* * *

Написаны и песни, и романы,
и крутится нестрашное кино.
И вроде все как было, без обмана.
Но ту ли нить прядет веретено?

Моя война была войной моею.
И ранен я был выстрелом в меня.
Чужую боль описывать не смею.
Чужой костер — подобие огня.

Свой путь пройду по своему же следу,
ни радости, ни горя не тая.
Пусть общею была у нас Победа.
Война ж была у каждого своя.



* * *

В тот год мы в районном собесе
с ним встретились после войны,
О нем, о веселом повесе,
сокурсницы видели сны...

Его иногда я встречаю:
идет, сигарета во рту.
И только теперь замечаю
тяжелую хромоту.

Седой и прибавивший в весе,
окуроч в толпе обронил.
А помню, как он на протезе
с девчонкой на танцы ходил.



* * *

Ни родных у него, ни близких.
Он Отечеству послужил.
И гвоздики у обелиска
сторож кладбища положил.

В них избыток кустарного лоска.
Лучших некому положить.
Пусть они из бумаги и воска,
но зато будут долго жить.



* * *

И вспомнился опять окоп.
Шинель промокла, бьет озноб.
Телефонистка молодая
ладонями коленки трет.
От изморози прядь седая.
Та прядь ей вовсе не идет.
А где-то с фланга снайпер бьет
да взрывы ахают тугие...
Ах, ностальгия!

Ностальгия?

Да, были счастливы мы все же,
затем что были мы моложе,
и жизнь и смерть — как бы во сне
в том быте грязном и гремящем.
Но там все было настоящим,
на той законченной войне...



ЗАТИШЬЕ

Словно вымерла передовая.
В тишину окунался закат.
Диск патронами набивая,
протирали их портянкой солдат.

Птица грустная вскрикнула где-то
за нейтралкою на юру.
Санитарка в обрывок газеты
осторожно вминала махру.

А солдат тот в отцы ей годился
и за малое мог бы журить,
но о бруствер облокотился,
молвил просто:

— Оставь покурить.

Покурила.

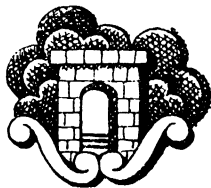
Бинты сосчитала.
Золотилось в закате жнивье.
Час затишья.

Война отдыхала,
Отдыхали святые ее.



ЖИЗНЬ

Хрустят суставы, как протезы.
Войны железные порезы
краями новыми срослись.
С нас не берут уже налоги.
И крут подъем о д н о й дороги.
Но мы в года свои впряглись
и — только вверх!
Взопрели лица.
Но сладостно подъем тот длится,
немало одолев препон.
Ах, был бы бесконечен он!
Ведь за последним перевалом,
где ледяное острие, —
пологий спуск — в небытие.





Не умер я на тех полях,
что вспучились и загноились.
Не умер я в госпиталях.
Не знаю, где о нас молились.

И в поле, и в окне тогда
звезда сочувственно горела.
Она, быть может, обогрела
и отвела тебя, беда?..

Я буду жив, пока жива
звезда над полем и над садом,
хотя люблюсь звездопадом,
спешу искать о нем слова....

Меж усыхающих ветвей
и алым набрызгом рябины —
там месяц клювом ястребиным
к звезде примерился моей,

что каждый день в окне горит,
и память давнюю тревожит,
и каждый день мне жизнь дарит,
давно погасшая, быть может.

В МАЙСКУЮ ПОЛНОЧЬ

Посуды звон.

И звон медалей
на пиджаках.

Табачный дым.
И души чистые взлетали
над песнопением святым.

Я тихо на крылечко вышел.
За тучкой теплилась луна.
И долго эти песни слышал,
где все — война,
война,
война...

Дождь кончился.

Туман.
И сыро.
Но пахла майская трава.
Веселый свет горел в квартирах.
И жизнь была во всем права.

И я, бывшее вспоминая,
в тот миг хотел лишь одного:
дожить до будущего мая,
до дня девятого его.

ОДНОПОЛЧАНИН

Что там тернии, звезды!
Он про это не знал,
а мотал свои версты,
как обмотки мотал.

От разрывов и грома
в час беды не сомлел.
От трофейного рома
никогда не хмелел.

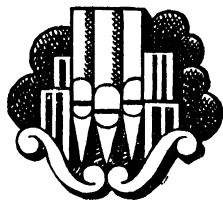
Он последнюю силу
не жалел для труда,—
и окоп и могилу
рыл поглубже всегда.

Все до дна понимая
в этой жизни густой,
баб жалел, обнимая,
на ночь став на постой.

Ненакормлен, покормлен,
необут иль обут —
был беде непокорен,
правя праведный суд.

И на вражьем пороге
после трудной ходьбы
в Шпрее вымыл он ноги,
словно после косьбы.

И в ступни те босые
сквозь асфальт и стекло
притяженье России
из глубин притекло.



ПАРИЖ

И вдруг вся История — ближе.
Сцепление дат и имен...
Четвертые сутки в Париже
я в чрево его погружен.

Тут, словно в великой реторте,
смешалось бывшее и новое.
Пульсирует в дряблой аорте
рекламы холодная кровь.

Измученный сексом натужным
и сладкой улыбкой витрин,
всем памятный, вечный и нужный,
Париж, ты устал от смотрин.

И все же сильны твои гены,
когда ты на драге плывешь
вдоль утренней выставшей Сены
и сваи бетонные бьешь.

В обед бутерброды привычно
съедаешь, оставив дела,
заметишь порой иронично:
«О, вечность! Она тяжела».

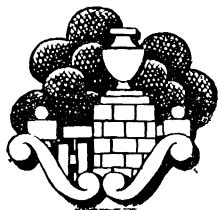
И также валяешься в гриппе.
Подружку в мансарду ведешь.
И в шляпу заснувшему хиппи
свой франк, как в копилку, кладешь.

Постишься. И любишь подарки.
Греховное смотришь кино.
Да все не боишься подагры
и легкое тянешь перно.

И, может, себе во спасенье,
букетик гвоздик сторговав,
ты едешь с семьей в воскресенье
к могиле уставшей Пиаф.

Ты запонки старые носишь,
Открыто глядишь и остро
и рюмку мне русской подносишь
при встрече случайной в бистро.

Париж, март 1979 г.



В ШАРТРСКОМ СОБОРЕ

Это — Акрополь Франции.
О. Роден

И величье встретило у входа.
И казалось, зазвучит латынь.
С высоты немыслимого свода
свято витражей струилась синь.

Короли сюда верхом въезжали,
придержав, чтобы не звякнул, меч.
Красоты неистовой скрижали.
Форм и линий собранная речь.
Тыщу лет стоит он, возведенный
из глухого камня и мечты.
Небом и землею пощаженный,
отнятый людьми у суеты...

И, когда взирал я на скульптуры,
нашу суету с тобой кляня,
с барельефа пухлые амурсы
шепотом окликнули меня:

«Но сперва был котлован глубокий.
Из окрестных деревень везли
на подводах каменные блоки.
Суетились в смраде и пыли.
Что-то было ровно, что-то косо.
Спорили, годится ли раствор.
Выпороли впрок каменотеса:

завиток он лишний вплел в узор.
Суетились люди, суетились.
Суетились так же, как сейчас.
Вековые храмы возводились.
Резчики трудились при свечах.
Все вершилось так обыкновенно.
И заботы были их просты.
Мир земной, шальной и вдохновенный,
станет нем и пуст без суеты...»

Шарп, март 1979 г.



МУЗЕЙ ЖАННЫ Д'АРК

Говорят, в этом доме она ночевала две ночи...
Двадцать пять килограммов доспехов устало сняла.
И, босая, в холщовой рубахе, воздев к небу очи,
пред распытьем стояла. И только к утру прилегла.

И, свернувшись, старалась угреться в холодной постели.
Где набраться ей слов? Где набраться ей, девочке, сил?
На скрипучих ступенях два рыцаря молча сидели,
берегли ее сон. За окном майский дождь моросил.

Говорят, в этом доме две ночи она ночевала.
Ей семнадцать уже. И неловко за плоскую грудь.
Кто подвиг ее дух, чтоб отчизну она врачевала?
Кто предскажет вещунье, где этот окончится путь?

Спал далекий отсюда Руан. Там еще холоднее.
Там еще дровосек не отправлен с подволою в лес.
И деревья растут, что дровами уложат под нею
и затем подожгут. И взметнется огонь до небес...

Где ей знать, что вернется она в Орлеан без конвоя?
И на бронзовый лик ее лягут неона огни.

Полночь. Памятник. Дом. В «ситроене» целуются двое,
позабыв отстегнуть на случайной стоянке ремни,

Орлеан, март 1979 г.

ГОРОД

На балконах на веревочках — белье.
Вдоль бульвара — барахолка, где старье.
Руки в брюки — в джинсы — запустив,
напевая привязавшийся мотив,
сторговали два веселых паренька
дряхлый граммофон у старика.
В черной коже-сбруе, норовист,
ходит меж рядов мотоциклист.
На скамейке, лик газетой заслоня,
человек заснул средь бела дня.
В парикмахерскую входит офицер.
Гид ведет туристов через сквер.
На лотке — салат и сельдерей.
Пахнет сдобой и ванилью из дверей.
Тихо дождик начинает моросить.
«Где я?» — так и хочется спросить.
С крыш сползает утренний туман.
День субботний. Город Орлеан...

Орлеан, март 1979 г.



ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ

О ней написано немало.
И вот взобрался я сюда...
По Сене баржа проплывала,
А в Сене ржавая вода.

Весь как подробнейшая карта
внижу Париж. Вот Пер-Ляшез,
приют последний Бонапарта
и мартовский Булонский лес,

дворцов неистовая слава
и чья-то логика аллей...
Смотри налево и направо,
вертись вокруг оси своей.

Отсюда скепсисом Вольтера
был мир однажды покорен.
Париж — великая химера,
не выдуман, но сотворен.

Париж — в движении неистов.
Дома, где плачут и поют,
как сувениры для туристов,
что на Монмартре продают.

Его я видел с башни-чуда,
где искушение взлететь.
И только лиц людских оттуда
не удалось мне разглядеть.
Париж, март 1979 г.

31 АВГУСТА 1939 ГОДА

Европа богу отмолилась
и улеглась устало спать.
Ей ничего в ту ночь не снилось,
Перина. Крепкая кровать.

...А он уже примерил каску.
Фельдфебель ветошью снабдил.
С патронов снял густую смазку
и пиво медленно цедил...

Во храмах догорали свечи.
Отрыжкой мучился аббат.
...А он обжал ремнями плечи,
снял с пирамиды автомат.

И с бруствера потек в окопы
песок из-под его ноги.
И двинулись к полям Европы
его большие сапоги...

Спала Европа под распятьем.
Все за день сказаны слова.
И на ночь предана проклятьям
за все безбожная Москва.

...Но близок череп на фуражке.
Шел Сатана в пыли дорог
с безбожной надписью на пряжке,
вещавшей миру: «С нами бог...»

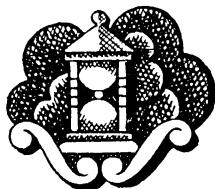
* * *

Любую боль переносил
и верил: обойдется.
На все всегда хватало сил —
ведь битому неймется.

Ну, потерплю.
А там — пройдет.
И не бывало страха.
Горячей удалью проймет:
что боль?!

Она — не плаха!

С тем пребываю, остаюсь,
отсчитывая вешки.
И только старости боюсь:
ее насмешки...



* * *

Опасная это затея —
все помнить, ничто не забыть,
подсчитывать все и, немея,
обида в подвалах копить.

В слежавшийся груз тот бесплодный
однажды ударит прибой.
И, рухнув, он осыпью плотной
тебя погребет под собой.



СО Д Е Р Ж А Н И Е

«Терла шею худенькую скатка...»	3
«Тяжек сон на закате, когда...»	4
«Счастливый человек, — мне говорят...»	5
«Когда нагрянула война...»	6
Артиллерист	7
«День от зноя изнемог...»	8
«От взрыва весь бруствер — в окоп...»	9
Эпиграф к обороне Москвы	11
9 мая 1945 года	13
«Был год, как кончилась война...»	14
Экспресс Москва — Берлин	16
Офицеры пехоты	18
«Шершавый бег ночной поземки...»	20
Трофеи	21
Оглянусь	22
Закат на взморье	23
В день рождения	24
«В детстве, в сказочном приделе...»	26
Предвкушение парада	27
«Что-то будет после снега...»	29
Учебник	30
«Стою у окошка, курю...»	33
«Кто хоть однажды зажимал зубило...»	34

«Не знаю, кто был прадед мой когда-то...»	35
«Был горек дым попутного костра...»	36
«Вся выдохлась ирония...»	37
Старая тетрадь	38
Этюд	40
Архивы	41
«Лезут ветви в багровый закат...»	42
Армянское застолье	43
Возвращение в Грузию	44
Предзорье	46
В час пиршества	47
«Нет, не забывчивость — иное...»	48
Гороскоп	49
«Глюкоза... Камфора... Палата...»	50
Раздумья	51
«Беснежная зима...»	53
«Все уйдем в немыслимую даль...»	54
«Госпитальная палата...»	55
«Уже выбирать не дано...»	56
«Асфальт почернел...»	57
«С утра туман курился над травой...»	58
Дождь	60
Доброхоты	61
«Ночь пахла пылью...»	62
Сон	63
«Рукою по лбу провела...»	65
«Когда стоят прижавшись двое...»	67
«С первым снегом тебя, с первым снегом..!»	68
«Ты выбрала меня на краткий срок...»	69
«Порог твой, рассудительность, высок...»	70

«Поспорь, душа, поспорь с напором плоти...» . . .	72
«Еще не все потеряно, пока...»	73
«Трудно трактор ползет на подъем...»	74
«Как в юности легки...»	75
«Вокзальчик забит людьми...»	76
Мой дом	77
«Нет, неправда: мир неодиначков...»	78
«И в стогу не заночуем...»	79
Перевожу с армянского	80
«А что вы знаете про нас?...»	81
«Век оправданье себе сочинил...»	83
«Нагая осень...»	84
«Всю жизнь спокойствию был рад...»	86
«Уходит сын из дома навсегда...»	87
«Безоглядность, беспечность, напор!...»	88
«Я все довел до грани, до предела...»	89
«Я знаю, во что превратится...»	90
«Я в лес вхожу, от города отрезан...»	91
«Ах, молодость ушла...»	92
«Ах, самое время писать бы...»	93
Моему знакомому	94
«Не спешу, не набиваю...»	95
«Мы пели лихо песню про Катюшу...»	96
Ночной монолог	97
Маленькая баллада	99
«Мой сон превращается в стон...»	100
«Не с легким сердцем вынимаю...»	102
«Написаны и песни, и романы...»	103
«В тот год мы в районном собесе...»	104
«Ни родных у него, ни близких...»	105

«И вспомнился опять окоп...»	106
Затишье	107
Жизнь	108
«Не умер я на тех полях...»	109
В майскую полночь	110
Однополчанин	111
Париж	113
В Шартрском соборе	115
Музей Жанны д'Арк	117
Город	118
Эйфелева башня	119
31 августа 1939 года	120
«Любую боль переносил...»	121
«Опасная это затея...»	122



*Григорий Соломонович
Глазов*

БЕСЕДА

М., «Советский писатель», 1986., 128 стр.
План выпуска 1986 г. № 182

Редактор *Е. Л. Храмов*
Худож. редактор *Д. С. Мухин*
Техн. редактор *Р. Я. Соколова*
Корректор *Н. А. Кузьмичева*
ИБ № 5354

Сдано в набор 06.05.86. Подписано к печати
18.08.86. А13170. Формат 70×108^{1/32}. Бумага тип.
№ 1. Литературная гарнитура. Высокая печать.
Усл.-печ. л. 6,60. Уч.-изд. л. 3,43. Тираж
9400 экз. Заказ № 7603. Цена 40 коп.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский
писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11
Типография издательства «Коммунист», 410002,
г. Саратов, ул. Волжская, 28

Глазов Г. С.

Беседа: Стихи. — М.: Советский писатель,
1986. — 128 с.

Что слова про грядущие сладкие льготы
Мы красивы при свете ночного костра.
Называемся мы офицеры пехоты.
Хватит слов! Подниматься в атаку пора.

Эти строки стали художественным и этическим лейтмотивом книги стихов Григория Глазова — ветерана Великой Отечественной войны, русского поэта, живущего и работающего во Львове.

Г 4702010200—335 182—86
083 (02)—86

ББК 84. Р7

